

Современный писатель живет в такой толчее и в такой суете, что с утра и до самого вечера мысль его дробится на встречи, на разговоры, на заседания, на нужные и ненужные телефонные звонки, написание писем и рецензий, на чтение чужих рукописей и книжных новинок и на тысячу других дел, от которых, в общем-то, никуда не денешься. «Только к часу полночи глухому наступает в доме тишина», — говорит одна известная поэтесса. Вот к этому самому часу и ты уже устаешь, и тебе тоже хочется спать, и уже ложишься в постель, и даже задремываешь, и вдруг, как кто-то толкнул тебя, открываешь глаза — мысль ясная, свежая, и вместо того, чтобы спать, лежишь, уставившись в темный, едва обозначенный уличным фонарем потолок — и думаешь, думаешь...

Я не люблю эти мысли, возникшие в час неурочный. Если их не запишешь, то утром обязательно все позабудешь, даже самые важные. Если встанешь записывать, то потревожишь близких, того, кто уже отдыхает, да и сама теперь до утра не заснешь. И тем не менее в эти ночные часы очень многое проявляется в своем истинном свете, без прикрас, без привычной уже мишуры потерявших значение слов. Именно тут к тебе приходит мужество понимания, которого так недоставало днем, и ты, не оставляя в душе места сомнениям, спокойно и холодно отмечаешь все то, что часа два или три назад давало ничем не оправданную уверенность, позволяло на что-то несуществующее надеяться, чему-то бесплотному верить.

А утром встаешь — и снова надеешься.

И живешь с прежней верой...

* * *

Разбирая, разглядывая свою прошлую жизнь, я теперь понимаю, что часто растрчивала свое время на ерунду. Но мне-то тогда казалось, что все это не ерунда, что это и есть самое настоящее дело в жизни: танцевать, пить хорошее вино, гулять при луне или же валяться на диване с французским романом в руках. Еще я любила узнавать все новых и новых людей. А так как в людях я в те юные годы не умела разбираться, то часто какую-нибудь медяшку принимала за золо-



Ольга Кожухова

то. Но тут же и разочаровывалась. И думала: ну, теперь я уже не ошибусь. И опять ошибалась...

Как я была в юности счастлива от того, что куплено новое платье. Или от того, что в печати мелькнула моя фамилия. Как я была счастлива, оттого что приходит весна или осень, — тогда весны и осени мне не виделись последними или предпоследними в жизни, — я не думала с такой ясностью, что число их впереди будет все уменьшаться и уменьшаться. Я радовалась сорванному цветку, подаренной мне улыбке, витиевatomу салонному остроумию...

И вот нынче все чаще и чаще меня радует только общение с мыслью. Трудной мыслью, — не радующей и не ласкающей, — будь то мысли давно умерших писателей или моего современника, друга, сидящего рядом и все понимающего: что я хотела сказать или даже, что подумала в эту минуту. Ни нарядное платье, ни веселое общество, ни прекрасный концерт или

спектакль не дают такого глубокого наслаждения, какое дают часы безмолвного и несуетного общения с книгой. Мне давно уже не нужны занимательные сюжеты, прекрасные типы, характеры, любовь до гроба, я читаю иных, самых «скучных» писателей, как некоторые читают сегодня детективы, — неотрывно, забросив все прочие насущные дела. И мне все важно и дорого в тихом, теплом течении мысли, как в течении самой вечности, как в бессмертии жизни вообще, как в мечте, не имеющей ясно видимых и осязаемых границ...

* * *

Бунин пишет: «Голые снасти деревьев». Или «женственная походка коровы». И за одной такой фразой, за одним подобным сравнением стоит целый мир. А сколько у него простых обыденных слов, из которых встает, поднимается перед глазами нечто солнечное, хрустальное, бессмертное, как душа, и живое, как плоть, так и хочется руками потрогать изображенное им: ребенка, цветок, книгу, лошадь, убитого кабана. Вспоминаешь гордыню этого человека, его внутреннюю непримиримость — и с таким удивлением находишь сочувственное замечание о писателе, утверждавшем, что прямолинейная принципиальность холодна, мертвенна, теплота жизни только в компромиссе.

* * *

Самолет нарисовал на холодном и бледном неласковом небе серебряное светящееся кольцо. Оно тихо тает, пушится, отчетливо прорисованное, — заколдованный круг, магическая черта, за которой тебя ожидает незнакомое новое счастье. Кажется, только переступить — и все тебе сбудется. И смотришь, и смотришь в холодную синеву, да не переступишь!

* * *

Прототип мопассановской Пышки Адриенна Легей, пытаюсь покончить с собой, оставила записку, в которой извинялась, что не может заплатить долга... в семь франков. Каково же будет умирать нам, скромным авторам, когда мы припомним о собственном долге перед читателем?! Маяковский писал: «Я в долгу перед бродвейской лампионией, перед вами, багдадские небеса, перед Красной Армией, перед вишнями Японии, перед всем, о чем не успел написать...» А у нас не написано о Гагарине и его смерти в роковом полете. Нет романа о маршале Жукове.

* * *

В парке — синие тени, хлопья снега на ветках деревьев. Солнце ходит по небу лениво, низким кругом, не поднимаясь в зенит. Даже ровно в двенадцать оно где-то прилеплено сбоку, над крышами ближних домов. Снег скрипит под ногами, лучится ярчайшими вспышками своих крохотных, еле видимых глазом кристалликов, отражающих солнечный свет. Воздух мягкий, бодрящий, ласкающий свежестью. На тропинках, на взгорках, у самого пруда — всюду матери и отцы с ребятами. Кто ведет за руку, кто толкает коляску, чьи-то чада, румяные и глазастые, уже катятся самостоятельно по сугробам на лыжах, на санках. И так — целый день, пока не стемнеет.

Когда-нибудь наша статистика подсчитает, сколько силы и времени человечество тратит на продление рода, на выращивание и воспитание подобных себе. Это будут какие-то сверхгигантские цифры. И как мало мы потратимся на благодарность старикам и старухам, уже отработавшим, отслужившим, а когда-то давно-давно родившим и воспитавшим нас и выпустившим в свет.

* * *

Изумителен аромат серебристого узколистого лоха, он ни с чем несравним. Но он все вокруг себя подавляет, давит на нервы, на душу. Вероятно, и гений точно так же нестерпим для его окружающих, тоже давит на нервы, на чувства и мысли обыкновенного, среднего человека, раздражает его своим присутствием, мешает дышать. Так что же беречь? Свои нервы, себя, свои мысли — или эту волнующую необычность гения, его фитонциды, убивающие ничтожество?

* * *

Читатель и писатель. Это, видимо, куда более сложный конгломерат отношений, чем мы думаем. Он, конечно же, не укладывается ни в рамки читательских конференций, ни в личную переписку, ни в личные встречи. Толстой не писал мне писем, может быть, и не захотел бы писать их лично мне, но я его письма все-таки получила. Я получила ценнейшие его указания — и не тогда, когда читала их, а когда состарилась, вспоминала прочитанное, передумывала, отвергала его — и принимала вновь. С целым рядом писателей у меня, как у читательницы, весьма трудные отношения, далеко не по формуле: «прочитал, восторгнулся и тут же откликнулся». Нет, я сперва некоторых совершенно не могла понять, потом стала вчитываться, понимать, — и полюбила. Потом встретила с жизнью, с ее беспощадной суровостью, на сей раз поняла, что меня утешают, обманывая; не захотела быть ни утешенной, ни обманутой и отвергла своих утешителей. Теперь уже навсегда. Полюбила куда более суровых, не утешающих никого, всегда говорящих жестоко, но такую понятную правду.

С инными же отношения, как с родными, — с братом, другом, отцом.

С самых малых лет, когда, наверное, еще ничего не понимала, кроме музыки фразы, пришла первая любовь: Есенин.

Потом, взрослая, стала понимать его мысли. Потом осознала трагедию его жизни и смерти, трагедию памяти. И любила, люблю — и буду любить до конца.

Нет, нельзя не полюбить человека, который уже не хотел сравнить предметы, и определить их: «А когда в небе светит месяц, когда светит черт знает как»... Есенин прекрасно знал, как именно светит месяц, но, однако, не нашел нужным в данный момент об этом говорить, он думал о другом — и чувствовал другое, это нечто другое было важнее всего, важнее месяца, воспетого тысячи раз. И вот в этом — урок. Самый главный урок. И урок навсегда. Никогда не отклоняться от той мысли, которую в данный момент ты можешь выразить. Конечно, при этом ты можешь описать закат, восход, грозу, бурю, тишайший день солнечной осени — бабье лето, или, как теперь принято называть «индейское лето», все равно воротись к своей главной мысли, к главному чувству, не растрчивай себя на эпитетах, это все преходящее, давай-ка выложи свою мысль...

Мысли бывают, как геологические эпохи. Одна — на поверхности. В траве, в ландышах. Другая приходит, когда ты отрываешь окоп в полный профиль.

Третью мысль обнаруживаешь лишь тогда, когда пробурен артезианский колодец — и он поит своей первозданной чистотой и тебя, и верблюдов, овец, лошадей, коров, без которых нет жизни.

Четвертая мысль приходит только с костями предков, с их бытом, с их утварью, с их оружием.

Пятая — с мамонтами в мерзлоте. Это потрясающее открытие современности. Оказывается, были мамонты, были... Огромные, неповоротливые, мохнатые. Как прекрасно разыскивать веточки своего собственного генеалогического — геологического — древа и находить себя рядом не с обезьянами, не с гиенами, не с грифами, не с хамелеонами, и даже не с кенгуру, а с этим неведомым мне существом. Как хотелось бы, чтобы оно было умным, спокойным, добродушным! А может быть, оно и было таким?

Но самое страшное, когда блестящая мысль, прекрасно изложенная, отвергает все то, чем ты живешь.

Тут и Толстой не поможет, не подскажет, как быть.

* * *

Трудно сказать, должны ли мы проклинать или благодарить родителей гения за его трудное детство, ведь еще неизвестно, что именно способствует совершенствованию, — тепличные условия или же буря, метель...

* * *

Жизнь так рассеивает и так отвлекает от повседневного писательского труда, что мои ненаписанные повести и романы перегорают во мне, как в корове невыдоенное молоко. За бессонную ночь напридумываешь изумительные фразы, нарисуеть невиданные пейзажи, сочинишь остроумные диалоги, а встала — и все завертелось в общественной и хозяйственной суете, не успеешь оглянуться, уже поздний вечер, и все, что придумалось, давно уже выветрилось, позабылось, а если и осталось в душе, то каким-то печальным и тусклым осадком, чувством глубокой неудовлетворенности и тревоги, а главное, раздражением на окружающих меня людей. Ведь это они виноваты, не я.

А может быть, я?..

Может, жизнь во мне, а вернее сказать, жажда жизни кипит с такой силой, что уйти от нее в мир фантазии не так-то уж просто, и вот тело мое, и мой мозг, и визжащие от насилия чувства и находят уловку: здесь отвлекься, и здесь, и на это растратить частицу души, и на это, а там — что останется.

А теперь уже — и не остается.

* * *

Характеристика героя у Лескова: «Тонкий, долгий, белый и волокнистый Висленев...» Здесь, помимо эпитетов, работает на читателя еще и фамилия, сочетающая в себе ассоциативно, по созвучию, и нечто висящее, и ленивое, и ослиное, да и говорится все это, как мы сразу же чувствуем, чуть брезгливо, со слегка иронической гримасой. Концентрация изобразительных средств такова, что все свойства и все оттенки во фразе не сразу и зафиксируешь.

Тот же Лесков говорит: «...события повторяются, и их можно предсказывать».

* * *

Солнце спряталось за облака, набежала прохладная, влажная волна воздуха, и душа отмякла, стала свободной, начала дышать. В лесу, за оградой двора, кричат неокрепшими голосами птенцы: июль, а деревья выглядят августовскими, с жесткой листвой, темно-бурые, с ржавчиной, и эти птенцы, совсем взрослые, слетки, наверное, уже собираются в дальний перелет, их голоса напомнили детство.

Детство. Милое детство. Самая счастливая пора жизни. Можно вернуть часы любви, часы опасности, часы мужества, жизнь дает нам возможность повторить то и это, и многое другое. Не единожды мы страдаем, не единожды радуемся. И только никогда, никогда больше мы уже не будем детьми, никогда мир перед нами не предстанет в такой необыденной свежести, в такой яркости чувств, как когда-то, когда мы были совсем юными, совсем глупыми, — мальчишками и девочками.

Сейчас я вышла на балкон и увидела машину «скорой помощи», женщину в белом халате, санитаров. И во всей свежести, во всей яркости чувств предстала болезнь мамы и ее смерть. Вот это единственное, что теперь нам остается, — скорбь об ушедших. И о нас самих, ставших в очередь.

